

Дмитрий
Мережковский

ЛИЦА

Лев Толстой и Достоевский
II

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
М52

Мережковский, Д.

М52 Лица. Лев Толстой и Достоевский II / Д. Мережковский. – М. : T8RUGRAM, 2018. – 422 с.

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) – русский писатель, поэт, литературный критик, религиозный мыслитель, творчество которого входит в сокровищницу мировой литературы.

«Лица. Лев Толстой и Достоевский» – монография Д. Мережковского, в которой исследуется и сопоставляется творчество и мировоззрение двух русских гениев XIX века. В идейную основу работы легла дилемма о христианстве и язычестве, поиск синтеза между Ветхим и Новым Заветом. Эта книга, посвящённая борьбе двух начал в литературе – Божеского и Человеческого, в сочетании с удивительно образным языком будет интересна широкому кругу читателей.

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ5

Часть первая. ЖИЗНЬ А. ТОЛСТОГО
И ДОСТОЕВСКОГО..... 19

Первая глава..... 21

Вторая глава 37

Третья глава 49

Четвертая глава..... 67

Пятая глава 101

Шестая глава 119

Седьмая глава..... 147

Восьмая глава..... 173

Часть вторая. ТВОРЧЕСТВО А. ТОЛСТОГО
И ДОСТОЕВСКОГО..... 195

Первая глава..... 197

Вторая глава 227

Третья глава 243

Четвертая глава..... 283

Пятая глава 313

Шестая глава 357

Седьмая глава..... 403

ВСТУПЛЕНИЕ

Поколение русских людей, вступившее в сознательную жизнь между восьмидесятыми и девяностыми годами XIX столетия, находится в таком трудном и ответственном положении относительно будущего русской культуры, как, может быть, ни одно из поколений со времени Петра Великого.

Я говорю — со времени Петра, потому что именно отношение к Петру служит как бы водораздельной чертой двух великих течений русского исторического понимания за последние два века, хотя в действительности раньше Петра и глубже в истории начинается борьба этих двух течений, столь поверхностно и несовершенно обозначаемых словами «западничество» и «славянофильство». Отрицание западниками самобытной идеи в русской культуре, желание видеть в ней только продолжение или даже только подражание европейской, утверждение славянофилами этой самобытной идеи и противоположение русской культуры западной, — в таком крайнем, чистом виде оба течения нигде не встречаются, кроме отвлеченных умозрений. Во всяком же действии, научно-историческом или художественном, они поневоле сближаются, соединяются, никогда, впрочем, не смешиваясь и не сливаясь окончательно. Так, у всех великих русских людей, от Ломоносова через Пушкина до Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и Достоевского, несмотря на глубочайшие западные влияния, сказывается и самобытная русская

идея, правда, с меньшей степенью ясности и сознательности, чем идеи общеевропейские. В этом недостатке ясности и сознания до сей поры заключалась главная слабость учителей славянофильства.

Тогда как западники могли указать на общеевропейскую культуру и на подвиг Петра, как на определенный и сознательный идеал, славянофилы обречены были оставаться в области романтических смутных сожалений о прошлом, или столь же романтических и смутных чаяний будущего, могли указать только на чересчур ясные, но неподвижные и омертвевшие исторические формы, или на слишком неясные, бесплотные и туманные дали, на то, что умерло, или на то, что еще не родилось.

Достоевский почувствовал и отметил эту болезнь славянофильства — недостаток ясности и сознания — «мечтательный элемент славянофильства», как он выражается. «Славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем. Так что, во всяком случае, западничество все-таки было реальнее славянофильства, и, несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство не двигалось с места и даже вменяло себе это в большую честь».

Западничество казалось Достоевскому реальнее славянофильства, потому что первое могло указать на определенное явление европейской культуры, тогда как второе, несмотря на все свои поиски, не нашло ничего равноценного, равнозначущего, и, вместе с тем,

столь же определенного и законченного в русской культуре. Так думал Достоевский в 1861 году. Через шестнадцать лет он уже нашел, казалось ему, это искомое и не найденное славянофилами, определенное, великое явление русской культуры, которое могло быть сознательно, в совершенной ясности, противопоставлено и указано Европе, нашел его во всемирном значении новой, вышедшей из Пушкина, русской литературы.

«Книга эта, — писал он в „Дневнике“ за 1877 год по поводу только что появившейся „Анны Карениной“ Л. Толстого, — книга эта прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе. Анна Каренина есть совершенство, как художественное произведение, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше свое, родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром. Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем своем собственном слове, — вот вопрос, который рождается сам собою».

В то время слова эти могли казаться дерзкими и самонадеянными; теперь они кажутся нам почти робкими, во всяком случае, недостаточно ясными и определенными. Достоевский указал в них только на малую часть того всемирного значения, которое открывается

нам все с большею и большею ясностью в русской литературе. Для этого надо было видеть, как видели мы, не только законченный рост художественного творчества, но и все трагическое развитие нравственной и религиозной личности Л. Толстого, надо было понять глубочайшее согласие и глубочайшую противоположность Л. Толстого Достоевскому в их общей преемственности от Пушкина. Это уже, действительно, как выражается Достоевский, «факт особого значения», уже почти сознанное, хотя еще не сказанное, уже определенное, в плоть и кровь облеченное явление русской и в то же время всемирной культуры. Только самые чуткие люди в Западной Европе — Ренан, Флобер, Ницше — если не разгадали, то, по крайней мере, предчувствовали смысл этого явления. Но и до сей поры, несмотря на русскую моду в Европе последних десятилетий, отношение большей части европейской критики к русской литературе остается случайным и поверхностным. И до сей поры не подозревает она действительных размеров ее всемирного значения, уже видимых нам, русским, для которых открыт первоисточник русской поэзии — Пушкин, все еще недоступный для чуждого взгляда. И нам уже нет возврата ни к западникам, отрицающим самобытную идею русской культуры, ни, тем более, к славянофилам, не потому, чтобы их проповедь казалась нам слишком смелой и гордою, — может быть, наша вера в будущность России еще дерзновеннее, еще самовластнее, — а лишь потому, что эти книжные мечтатели и умозрители сороковых годов кажутся нам слишком покорными и боязливymi учениками

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКИЙ

немецкой метафизики, переряженными германофилами, простодушными гегелианцами. И если пророчество Достоевского: «Россия скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал», оказалось преждевременным, то лишь потому, что сам он не договорил этого слова до конца, не довел своего сознания до последней степени возможной ясности, испугался последнего вывода из собственных мыслей, сломил их острие, притупил их жало, — дойдя до края бездны, отвернулся от нее и, чтобы не упасть, снова ухватился за неподвижные, окаменелые исторические формы славянофильства, те самые, для разрушения которых он, может быть, сделал больше, чем кто-либо. Нужна, в самом деле, великая ясность и трезвость ума, чтобы без головокружения, без опьянения народным тщеславием, признать всемирность идеи, открывающейся в русской литературе. Может быть, для нашего слабого и болезненного поколения в этом признании больше страшного, чем соблазнительного: я разумею страшную, почти невыносимую тяжесть ответственности.

Но, несмотря на то или, вернее, благодаря тому, что мы признали самобытную русскую идею, мы уже не можем, — чего бы это ни стоило, и какие бы роковые противоречия ни грозили нам, — высокомерно отворачиваться от западной культуры или малодушно закрывать на нее глаза, подобно славянофилам. Не можем забыть, что именно Достоевский, и как раз в то время, когда он был или, во всяком случае, считал себя, самым крайним славянофилом, с такую силою и определен-

ностью высказал нашу русскую любовь к Европе, нашу русскую тоску по родному Западу, как ни один из наших западников: «У нас, русских, — говорит он, — две родины: наша Русь и Европа». «Европа... Но ведь это страшная и святая вещь! О, знаете ли вы, господа, как нам дорога, нам, мечтателям-славянофилам, эта самая Европа, эта „страна святых чудес“!» — «Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небо склон? Русскому Европа также драгоценна, как Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук, вся история их — мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!» — «Я хочу в Европу съездить, Алеша, — говорит Иван Карамазов, — и ведь я знаю, что я поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более!»

Неужели — только кладбище? Но ведь Европа для русских — он это сам сказал — вторая родина. А разве